

1

– Понимаешь, мы — никто!

Она кричит.

Нет, ей даже не тяжело. Это не истерика, это скорее экспозиция. Заявка на главные темы, акценты, сюжетные линии и переходы... А сейчас, уважаемая публика, вы прослушаете легкое аллегро в струнном исполнении.

– Господи, какой же ты идиот! Неужели ты не видишь этого? От нас ничего не осталось!

Она смеется, и ее смех упруго отражается от забитых слабоподсвеченных стен и плотно закрытого окна.

Она сидит на краю стола, свесив босые ноги на пол, покручивая в нервных, тонких, обтянутых хрупкой, словно оберточная бумага, кожей ладонях тяжелый стакан с водкой. На ней непонятное серое платье, больше похожее на ночную сорочку, пожалуй, чересчур честно прилегающее к ее фигуре. Но сейчас ей на это плевать.

Сейчас она — голос.

– Ты же чувствуешь это, да? Мы подножный корм! Можешь сколько угодно обманывать себя и других, но ты чувствуешь это! Отыгранная, безытересная падаль, отражающаяся в зрачках собеседника. Ты же боишься меня сейчас?

Стакан пустеет. Боюсь.

– Ты боишься, ведь я — *правда*.

У нее горят глаза. В ней не осталось ничего тонкого, изящного, что обычно ищут в красивой женщине. Не осталось недоведенных взмахов рук, недосказанных фраз. Сейчас она — от начала и до конца, без поблажек. Сейчас она говорит все, не жалея ни себя, ни меня; сейчас она вкладывает все в каждый взмах руки, в каждое слово, в каждую эмоцию.

Она — голос.

– Просто скажи это. Не смей мне врать. Неужели тебя не тошнит от каждого, кто осмелился назвать себя человеком?

Неосторожное движение — и стакан отправляется на пол. В звенящей тишине он крошится об пол практически беззвучно, композиция из затемненного стекла, плавно превращающегося в калейдоскопную крошку, растекающуюся по неровному полу. Она смеется:

– Вот они, мы. Уродливая стекольная крошка. Хочешь, делай вид, что каждый способен блеснуть...

Она делает глоток прямо из бутылки, яростным кивком отбрасывает волосы назад.

– Думаешь, это красиво?..

Да, красиво.

– Но на деле ты уже на полпути к мусорному ведру.

2

В детстве ей очень нравились глиняные и стеклянные черепки, остающиеся от разбитой посуды. Она никак не могла понять, почему люди такие глупые и выкидывают их, эти несчастные останки кухонной утвари. Мама тоже была глупая, но с ней можно было договориться за сделанные уроки. Тогда мама ворчала весь вечер, но уговор соблюдала, оставляя ей осколки.

Они были красивые, но всегда обычные.

Необычные иногда появлялись на улице, когда какая-нибудь семья, устав врать друг другу, громко взрывалась на всю округу неприятными подробностями. Подробности ей не очень нравились, тем более, что они всегда были одинаковыми, а вот черепки выкинутой в окно посуды всегда были разными. Некоторые из них были покрыты разноцветной эмалью, но так ярко сверкали на солнце, что живущие на той же улице мальчишки хватили их первыми и уже не отдавали. Ругаться с ними ей не хотелось, а меняться с мальчишками было не на что, так что разноцветных всегда было мало.

Она приносила добычу домой, долго отмывала ее в заранее набранном ведре с водой и ласково укладывала в коробку под кроватью. В дни же, когда ей становилось грустно, она вытаскивала свои сокровища на свет и перебирала их, постоянно обрезаясь об острые края. Иногда она выбрасывала всех их на пол и пыталась сложить из них картинку.

Иногда глупая мама заходила в комнату, заглядывала через плечо и спрашивала: *что это?* Тогда она вздрагивала, оборачивалась и поднимала на маму полные недоумения глаза:

– То, что вокруг, мамочка. Как же ты не понимаешь?

Глупая мама действительно не понимала, но признаться в этом ей не хватало духу, и она уходила. Пройдет время, думала мама, картинка получится, и ее девочка наконец повзрослеет.

Картинка никогда не получалась, и она знала почему: ей не хватало черепков. Тогда она собирала всех подопечных обратно, забиралась на чердак и смотрела на небо, оставив разочаровавшие ее сокровища внизу.

Она знала, что время этих осколков еще не пришло.

Потом в *Городе* началась Война. Ей нравилось писать это слово именно так, с большой буквы. Взрослые в школе ругались, мазали тетрадку красными чернилами и сердито смахивали назойливую заглавную В с меловой доски. Но ей всегда казалось, что эта одна разьединственная буква заставляет их всех выпрямлять спину, и она снова ее писала, довольная своей маленькой магией.

Война превратила улицы в целые галереи черепков, где, казалось, можно было найти любой осколочек, у которого был хоть малейший шанс появиться на земле. Она ходила по этим галереям, как завсегдатай музея, в добавок объехавший все самые важные мировые выставки, и грустила. Ей казалось, что вот сейчас она точно сможет собрать картинку, но обнаружилось, что Война оставляет после себя самые обычные увечные черепки, и ничего кроме них.

И не было никакой разницы, сидел ли на этой улице подлый враг, ко-

торый раньше, как известно из одного странного, но понравившегося ей рассказика, обретался где-то за лесом, или здесь защищались наши доблестные войска — вместо них остались одинаковые осколки, непригодные ни для чего, кроме печальных воспоминаний о произошедшем.

Но однажды Война сделала ей подарок: почти отсыревший заряд попал в крышу собора в еще нетронутой части *Города* и взорвался внутри, выбив витражные стекла. Кто-то закричал, какие-то проходившие мимо люди плакали от бессилия, наблюдая, как рушится под собственным весом то, что они считали святым. А она стояла под чудесным цветным стеклянным облаком, опасными иголками оседающим на тротуар, и смеялась. Прохожие в ужасе смотрели на нее, отчаянно пытались пробиться к ней через толпу перепуганная мама, а она стояла под великолепным витражным вихрем, ощущая, как горячими стеклянными каплями пополам с кровью сбегает по ней новые, подаренные Войной, фрагменты ее картинки.

Ее *того, что вокруг*.

И тогда она решила, что нужно только ждать, пока мозаика на полу ее спальни сама не соберется в ее руках. Пока не настанет время.